

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Собеседник. — 1998. — № 10. — С. 8

СОБЕСЕДНИК 10'1998



Филатов болел тяжело. И болезнь его становилась удобным аргументом в спорах: разногласия его с нынешней властью можно было объяснить болезнью — и долго еще предстояло ему доказывать, что любимец интеллигенции пребывает в здравом уме и твердой памяти. Филатов болел страшно. Он менялся почти до неузнаваемости — замедлялась речь, пропадала победительная осанка сухопарого российского супермена, и прежний Филатов опознавался только по усам, да по непрерывному курению, да по носу, сплюснутому еще в бандитском ашхабадском детстве. И конечно, никуда не девались его стихи — он сам писать не мог и диктовал жене, но за два года болезни сочинил-таки комедию в стихах, первые сцены из которой дал когда-то для публикации «Собеседнику». Два года он жил на диализе. Сейчас ему пересадили почку. Он встает на ноги — медленно, но верно. Он все больше похож на себя прежнего. А что в нем после болезни изменилось — пусть он говорит сам.

— То, что случилось со мной — не выздоровление, а воскресение. Я два года медленно шел к смерти. Еще до того, как вырезали почку, почти никто не давал мне шанса. Но я не умирал, и меня стали оперировать. Если бы хоть микроскопической надежды не было, конечно, никто бы за это не взялся. Меня спасли академик Шумаков — директор Института трансплантологии, первым в России пересадивший сердце, и Ян Майсюк, совсем молодой парень, но гений, по-моему.

Я понимал, что дела мои, мягко говоря, не очень хороши. Одно время мы с женой жили в санатории, и нас навещал Леня Ярмольник. Он вообще сделал для меня больше, чем кто-либо, — хотя, вместе работая на Таганке, мы даже не дружили: тут и разница в возрасте, и просто не сводила жизнь... Я не знаю, что заставляло Ярмольника, живущего с семьей за городом, тратить на меня столько времени, постоянно приезжать и потом, когда стало

легче, раз в неделю возить в китайский ресторан... Это — к вопросу о том, как повели себя друзья. Так вот, Ярмольника отвели в сторону и предупредили: им мы ничего не скажем, но он умрет через пять дней. Увезите его, пожалуйста.

Я не считаю это цинизмом — напротив, это, может быть, и спасло. Ипотом, это же все-таки санаторий, а не больница, не реанимация, — зачем я такой был им там? Ярмольник посадил меня в машину и тут же увез к Шумакову, лицу которого я понял: все, может быть, и не безнадежно, но очень тяжело. Даже на фоне остальных его пациентов. Это было два с половиной года назад. Вообще моя болезнь началась с гипертонического криза, после которого меня увезли в чазовский центр. До этого я никогда не замечал ничего подобного — знал, что иногда повышается давление, трудно играть, морда красная, — но, как мне потом сказали, гипертония эта началась лет двадцать назад.

Филатов болел долго. Иные полагали, что если не из жизни, то из профессии этот человек выбит. Его стали чтить: дали звание народного артиста, Госпремию и премию «Триумф», а пятидесятилетие превратили было в национальный праздник, но юбиляр не позволил.

Особо я не берегся, так что к сорока пяти годам кризы стали повторяться беспрерывно. А потом, после инсульта, одна женщина-профессор заметила, что дело в почках. Прежде я никогда на них не жаловался. Кстати, диагноз мне поставить не могли очень долго. Дело ведь не в том, где лечиться: мы представляем себе, что чазовский центр, ЦКБ — место, где работают полубоги, еще бы, ведь они лечат президента! На самом деле врачи от Бога — это, впрочем, касается всех профессий — очень мало. И у них ничего нет. Они добывают лекарства из воздуха. Я не знаю, как меня умудрялись лечить. Но не зная ни копеечки: в Институте трансплантологии всех москвичей лечат бесплатно, платят только приезжие.

Иногда я думаю: некоторым здоровым людям — не дай Бог никому, конечно, — все-таки был бы небесполезен мой опыт. Они увидели бы, как живут — и как умирают — другие, о чем существовании здоровые предпочитают не догадываться. И тогда — как ни банально это звучит — люди стали бы ценить каждый миг того, что они пренебрежительно называют полужизнью.

У меня был период безнадежный — это время, когда сознание уплывало, уходило, и я из последних сил уговаривал мозг держаться: не устроить истерики перед концом. Потому что иначе у всех появилось бы право сказать: да что он такое? так, всю жизнь проведывался, а перед смертью оказался дристей... Вот этого я не мог себе позволить. Правда, эти мысли идут краем сознания, периферией его, а первым планом — боль, ничего другого. И я видел, как люди ее терпят. Видел мальчика, которому было нечеловечески больно, он не терял сознания — все понимал, слышал, разговаривал, — но не кричал. Так и умер: тихо. Как великий оператор Саша Княжинский, снявший «Сталкера». Он тоже жил с пересаженной почкой, но, в отличие от меня, не берегся: выпивал, в частности... Я, впрочем, берегусь как-то половинчато: бросить курить не смогу никогда, а выпивать меня просто не тянет.

Но терпение не называется там ни героизмом, ни мужеством. Многие вообще не воспринимают в больнице. Это можешь оценить, когда

ет... Но все, кого я видел, и в это время держались. Никто не кричал в истерику — скорее, скорее... А мне было еще и стыдно подгонять врачей, мальчиков и девочек по двадцать пять — тридцать лет. Ведь я прожил больше, чем они. Я что-то успел. Пусть я и дряни много успел, — но ведь это шло не от сознательного стремления к дряни... Понятие смерти проще впускать в себя, чем примириться с физическими страданиями. Мысль о смерти приводит тебя в ужас раз, два, три, четыре раза... а потом думаешь только о том, чтобы это случилось не слишком противно, не публично... Но со страхом там борются иронией. Некоторые скажут, что это профессиональный цинизм, но для врача ирония — важнейший инструмент: если молодые мужчины и женщины с тобой шулят, значит, ты не безнадежен. И у больных просыпается тот же юмор, на краю бездны. Я все время был в палате с женой. Нина, по сути, и вытащила меня, — причем сколько бы мы ни прожили вместе, какая бы ни была любовь, я не мог себе представить, что она окажется таким товарищем. Я любил ее эгоистичной и взбалмошной, какой и должна быть актриса, Маргарита, красивейшая женщина «Таганки», — именно за это женщины и любят; но она два года не отходила от меня. Это был не разовый подвиг, а тяжелая и страшная работа изо дня в день, пребывание в тех местах, которые для нее всегда были невыносимы... Двум женщинам я обязан больше всего — ей и матери. Матери, которой за семьдесят и которая сейчас живет через несколько домов от нас, — было, я думаю, не легче. Мне трудно представить — что такое катать в коляске собственного беспомощного сына. Год я не ходил и не мог удержать ручку, нормально писать начал только сейчас.

А выздоровление... знаешь, как мало человеку нужно? Впервые за два года я начал, пардон, мочиться. Потому что появилась почка — без нее кровь чистили диализом. А теперь, как видишь, возвращаются простые радости, это ведь невероятно приятно — самостоятельно пойти в сортир!

Я не знаю, что будет. Сейчас мне приходится пить много гормонов, а это подсаживает и печень, и сердце, —

подспудно на всех злобился. Ненависти ведь, если пристрастно посмотреть, достоин каждый.

— Леня, качество нашей общей жизни как-то изменилось за то время, что вы в ней не участвовали?

— Я не сказал бы, что совсем не участвовал: в меру сил своих продолжал делать программу, что-то царапал на бумаге, думал... Но главное изменение, по-моему, — резкое не то что упрощение, а уплощение жизни. Я не против простоты: жизнь на самом деле действительно проста. Даже груба. Несколькими опорными светящимися точками — перепрыгивая с одной на другую, как-нибудь проживешь, а где не перепрыгнешь — проплывешь. Но она нелинейная, неплюсовая. Мы же сейчас видим ее сужившейся, условной. Молодежь не знает ее совершенно — и вообще, как мне кажется, не знает ничего. Я не хочу ругать поколение, тем более что этому поколению трудно. Но оно живет какими-то стандартными, надуманными представлениями — даже не книжными, потому что книжек не читают, а я уже не знаю какими, искусственными насквозь. Второго дна нет, пробиваться не к чему. И когда Эрнст по телевизору говорит о «буферном поколении», принимающем на себя все удары, — я не очень понимаю, какие удары имеют в виду эти тридцатипяти-тридцативосьмилетние. По-моему, они имеют о реальности весьма опосредованное и убогое представление.

— Вы будете еще играть?

— Нет, в театре я играть не хочу. Программу, наверное, буду делать и дальше — раз в полтора месяца. Ближайшая будет о Ефиме Захаровиче Копеляне. Хотя — особенно после болезни — мне все труднее расспрашивать вдов. Я стараюсь сам не ездить на интервью, только монтировать. Потому что вдовы плачут, а я, снимая это, напоминаю себе того итальянца, который снимал казнь в Саудовской Аравии и попросил ее перенести на день, потому что было плохое освещение... — И что, ему пошли навстречу?

— Нет, конечно. А коллеги исключили из всех профессиональных ассоциаций.

— А что вы пишете сейчас?

— В перспективе я собираюсь написать «Лисистрату». Это будет небольшая, но довольно веселая пьеса, куски из которой есть уже сейчас. По-моему, это выдающаяся драматическая коллизия — бабы не дают мужикам, пока те воюют! А пока, примериваясь к «Ли-

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ: ЗНАЧИТ, Я ЗАЧЕМ-ТО НУЖЕН

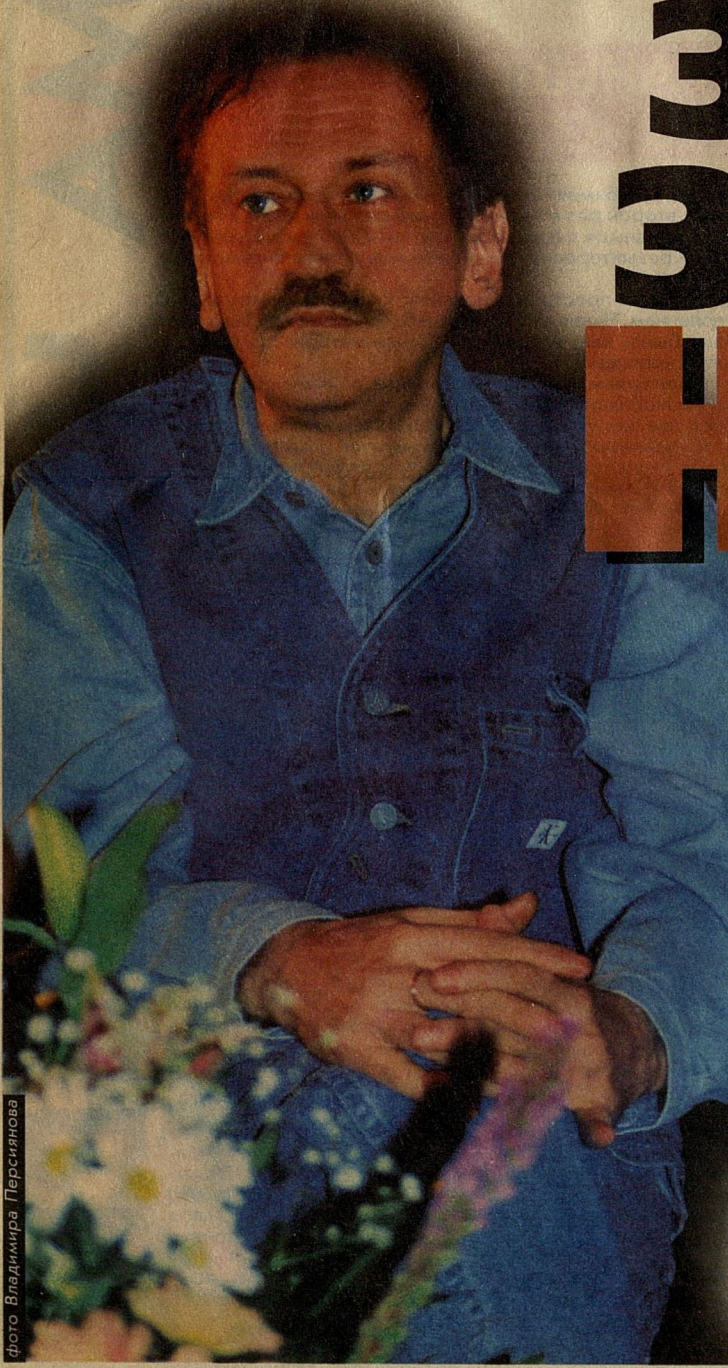


фото Владимира Персиянова

оказываешься в своей квартире. А там я перестал пугаться даже слова «реанимация». Хотя и отдавал себе отчет в том, что это — чистилище. Но когда побываешь в нем восемь раз... Там это почти будни. И коллапс — будни. Хотя коллапс — состояние еще обратимое, но к смерти довольно близко. Ведь диализ — не самая простая для организма процедура: во время него резко падает давление, потому что из тебя выкачивают для очистки всю кровь, ты лежишь с двумя иглами в венах, тебе нельзя пошевелить рукой... И когда вернее давление падает ниже ста, а при диализе оно падает стремительно, его не удержишь, — тебя начинают рвать, мучительно, спазматически, а рвать нечем, и это те еще радости... А вокруг — врачи и медсестры, и ты осознаешь, что они могут не успеть тебя спасти. Потому что вколоть в это время ничего нельзя, кроме глюкозы, а она едва-едва поддержива-

ет, так что сейчас можно воспрянуть, а потом за это заплатить. Но человек так устроен, что на худших вариантах предпочитает не сосредотачиваться. Что бы ни случилось со мной завтра, сегодня мне продлили жизнь. И значит, я зачем-то нужен.

— Леня, я не хотел бы об этом спрашивать, но как должно быть невыносимо то, что будет после смерти, — если человек так цепляется за жизнь, если его так пугает сама мысль о небытии? Может, там вообще ничего нет?

— Нет, человек слишком упорно об этом думает, слишком недвусмысленные знаки ему подаются оттуда, — значит, что-то есть. Иначе все мировые религии не были бы так на этом сосредоточены — и так схожи в предположениях об этом. Другое дело, что и вечная жизнь может быть мучительна: мы говорим о бессмертной душе, но — о какой душе? Друг в следующей жизни это будет уже душа кошки или кого-то совсем примитивного, вплоть до таракана? Ведь колодец этот бездонен, можно попасть в простейшие... Да и не в том дело, я не верю в переселение душ. Я просто не могу допустить, что все кончается здесь.

— А ненависти к здоровым у вас не появлялась временами?

— Нет, надо быть слишком полным ничтожеством, чтобы испытывать такие чувства. Знаешь, если человек возненавидел здоровых, когда заболел, — значит, он в бытность свою здоровым

так что сейчас можно воспрянуть, а потом за это заплатить. Но человек так устроен, что на худших вариантах предпочитает не сосредотачиваться. Что бы ни случилось со мной завтра, сегодня мне продлили жизнь. И значит, я зачем-то нужен.

— Леня, я не хотел бы об этом спрашивать, но как должно быть невыносимо то, что будет после смерти, — если человек так цепляется за жизнь, если его так пугает сама мысль о небытии? Может, там вообще ничего нет?

— Нет, человек слишком упорно об этом думает, слишком недвусмысленные знаки ему подаются оттуда, — значит, что-то есть. Иначе все мировые религии не были бы так на этом сосредоточены — и так схожи в предположениях об этом. Другое дело, что и вечная жизнь может быть мучительна: мы говорим о бессмертной душе, но — о какой душе? Друг в следующей жизни это будет уже душа кошки или кого-то совсем примитивного, вплоть до таракана? Ведь колодец этот бездонен, можно попасть в простейшие... Да и не в том дело, я не верю в переселение душ. Я просто не могу допустить, что все кончается здесь.

— А ненависти к здоровым у вас не появлялась временами?

— Нет, надо быть слишком полным ничтожеством, чтобы испытывать такие чувства. Знаешь, если человек возненавидел здоровых, когда заболел, — значит, он в бытность свою здоровым

систрате», я сочиняю — не песку в строгом смысле, а драматический этюд, даже не рассчитанный на постановку. «Белоснежка и семь гномов», сентиментальная мелодрама из жизни гномов по мотивам Дрисея, но на совершенно другой лад.

Гном Пятница, который всегда в бинтах, в гипсе каком-то, влюбляется в Белоснежку. Но какая тут взаимность — он ей в лучшем случае по колено... Он выпивает грамм три и, осмелев, идет признаваться в любви. Поскольку пьян, все время падает, обнимает ее за ногу — выше не достает... Она неприятно изумлена, хоть он и уверяет ее, что гном мелок только телом, а духом велик... Но, поняв безнадежность ситуации, говорит: «Я правоты твоей не отрицаю, в своем недоумении ты права... О, как теперь я это понимаю: бессилье слов! Слова, слова, слова!» И уходит. А через три минуты его уже несут. Белоснежка спрашивает: «Из-за меня повиселся? Как мило! Я думала, он шутил, бедный гном!» Но спасти его, откачали... Хепи-энда, впрочем, все равно не получается: зачем ему жизнь без нее? А ейот него — никакого толку: драма несовпадения размеров.

— Ну так придумали бы ему какую-нибудь гномку...

— Э, нет, любовные трагедии неразрешимы. Гномы, запомни, бывают только мужского рода.

Дмитрий Быков.